

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

СЛОВО МЕНЬШИКОВА НА ПЕРЕПУТЬЯХ РУССКОЙ СМУТЫ*

(К 150-летию со дня рождения выдающегося русского мыслителя)

Предсказание Серафима Саровского

“Императрица (Мария Александровна, супруга императора Александра II. — А. В.) говорила со мной также про предсказание, сделанное одним отшельником (в другом месте — “отшельником Сарова”, т. е. преподобным Серафимом. — А. В.) Михаилу Павловичу о смерти его дочери, о его собственной смерти и о смерти Императора Николая. Великий Князь Михаил никогда не хотел рассказать того, что было предсказано о детях Императора Николая, говоря, что он откроет это только Императрице, но он так и умер, не решившись этого сказать. По-видимому, это было что-то злое”.

А. Ф. Тютчева. 2 марта 1855 г.

По преданию, однажды преподобный Серафим Саровский стоял у знаменитого чудотворного источника, который некогда и забил из земли по молитве старца. В это время к нему подошел приехавший из Петербурга офицер. Это был масон и будущий декабрист (по некоторым сведениям, сам Павел Пестель), желавший получить от преподобного благословение на готовящийся переворот. Но не успел офицер приблизиться к батюшке, как вода в источнике вдруг помутнела, потемнела, забила ключом. Серафим Саровский пристально взглянул на незнакомца и сказал ему: “Гряди вон! Подобно тому, как замутился этот святой источник, так возмутишь и ты со своими единомышленниками всю Россию!”

Эта история могла произойти не раньше 25 ноября 1825 года, так как до этого дня преподобный 18 лет соблюдал обет молчания и находился в затворе — то есть никуда не выходил и никого не принимал, непрестанно молясь и размышляя о Господе. Но 25 ноября 1825 года во сне старцу явилась Матерь Божия и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя людей, требующих наставления, утешения, руководства и исцеления. С этих пор преподобный открыл двери своей келийки для всех. Кто бы ни пришел к нему, батюшка приветствовал его: “Радость моя, сокровище мое!”

* Вступительная статья из подготовленной А. Воронцовым книги “Михаил Осипович Меньшиков”, выходящей в московском издательстве “Русский мир”.

Однако совсем не так он встретил офицера-масона.

А ведь прошло всего несколько дней (офицер-декабрист по понятным причинам не мог появиться позже 14 декабря 1825 года), как старец дал обет Богородице наставлять, утешать, направлять и исцелять всех пришедших к нему. Разве не требовал этот заблудший человек если не утешения и руководства, то наставления и исцеления? А отец Серафим его даже слушать не стал и изгнал.

Это очень напоминает эпизод из “Страшной мести” Гоголя, когда продавший душу дьяволу колдун вбежал в пещеру к святому схимнику:

“— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе.

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди, святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!”

Так что же, выходит, масоны, тайные заговорщики, декабристы, революционеры и т. п. — такие же неслыханные грешники, как страшный гоголевский колдун?

Как знать — может быть, и такие же... Разве не исполнились роковые пророчества Серафима Саровского, сказанные офицеру-масону и великому князю Михаилу Павловичу?

Мы не знаем, произошла ли на самом деле встреча преподобного Серафима и офицера-декабриста, или это легенда. Но нам известны другие мистические истории подобного рода, и одна из них имеет отношение к герою этой статьи — Михаилу Осиповичу Меньшикову.

Тайна писательской галереи

В 1908–1912 годах художник Иван Кириллович Пархоменко создал портретную галерею наиболее прославленных тогда писателей России (около 90 картин). Реалист репинского толка, он изображал писателей такими, какими они были: без поэтического фона, задумчивых поз с пальцем у виска, без книг, рукописей, гусиных перьев, карандашей в руках. Он хотел, хитрый хохол, взять их “голенькими”. Что же получилось?

Я видел большинство этих портретов — они (около 60) хранятся в Государственном литературном музее в Москве. Это добротная, профессиональная работа. Но вот что странно: **при жизни Пархоменко эту галерею так никто и не купил** (а художник хотел продать ее целиком). Почему?

Может быть, из-за отсутствия в работе Пархоменко пресловутой “комплементарности”? Действительно, портреты напоминали бюсты римских цезарей, творцы которых, вероятно, не ставили себе цель подчеркивать достоинства клиентов (цезарь и так вне критики), хотя, видимо, не выпячивали и недостатков. Писатели, по словам В. В. Розанова, видевшего галерею Пархоменко, имели на лицах “все следы опыта жизни”, У Льва Толстого — глаза душевно-больного. “Чудовищное, опухлое темно-красное, “бочкой”, лицо Мамина-Сибиряка” (Розанов). Седеющий курчавый Блок в галстук похож на влюбленного Марка Дейча (если, конечно, чувство влюбленности свойственно последнему). Стриженный “под ноль” Куприн — типичный хитроватый татарин, никогда не говорящий ничего до конца. Бунин — лукообразный, прилизанный, скучный, под глазами болезненные мешки. Сухой морщинистый Кони со скандинавской бородкой вызывает в памяти образ какого-нибудь Гобсека или Ротшильда. Лицо нечесаного, бородатого Фофанова так откровенно, словно он третьего дня только вышел из запоя.

Оговоримся, что физические недостатки или печать тайного порока на лице у одного литературного кумира ничего или почти ничего не значат. Но если таких кумиров несколько десятков, то не слишком бросающиеся в глаза порочные черты каждого отчетливым контуром выступают из других черт, как на загадочной картинке из детского журнала, в которой предлагается найти среди ветвей дерева спрятавшегося разбойника. Сохранилась фотография

мастерской Пархоменко с развешенными по стенам портретами. Сначала шеренги “литературных генералов” впечатляют. Потом, когда взглядишься, стремишься узнать того или другого, затуманенные черты вдруг выступают, как на фотобумаге, опущенной в проявитель, и ты ловишь себя на ощущении, что оказался перед чем-то вроде семейной галереи Баскервилей у Конан Дойля. Или — у портрета уайльдовского Дориана Грея.

Кажется, какое-то проклятье тяготеет над этим сообществом почтенных господ. Что-то страшное, невысказанное есть в их лицах. Что, что? Предательство веры отцов, измена Родине, которую они с такой страстью поносили и в 1905-м, и в 1917-м, от которой отреклись ради сребреников-гонимых, под пение уже охрипших петухов? Потом плакали в своих нищенских парижских мансардах, били себя в грудь. Но хоть один сказал: “Я виноват, я!”? Почитайте, что писали Гиппиус и Мережковский после революции — все у них предатели, мерзавцы и хамы, а кто в 1913 году исключал Розанова из Религиозно-Философского общества за “черносотенство”? Кто, брюзжа по поводу разгона “Учредилки”, бегал к Луначарскому, хлопоча насчет переиздания своих нудных исторических трилогий, упирая на “заслуги перед революцией” сих опусов?

Что говорил Ходасевич по поводу службы в большевистском ЛИТО, где сменил самого Брюсова? К чему эти обличения “жидков” в так и не опубликованных полностью дневниках Блока, если он, как какой-то Явлинский в шутовской погоне за членами ГКЧП, ходил допрашивать слабовольных, но ни в каких преступлениях не повинных родственников и приближенных царя? Царя и его семью убили потом, а Блок, лучше других знавший об их невинности, что сказал по этому поводу?

Ничего он не сказал, и никто из них ничего не сказал, разве что те, кто говорил и прежде — А. Суворин, В. Буренин, М. Меньшиков, В. Розанов...

И, наверное, не случайно, что лица Меньшикова и Розанова — самые светлые в этой галерее.

“Я один из русских пророков”

Если мы представим, что галерея Пархоменко существует не только в физическом мире, но и духовном, где, безусловно, замысел художника получил мистическое продолжение и всё новые призрачные лица возникают на подвешенных в пустоте холстах, то мы увидим истоки нашего сегодняшнего литературного кризиса необычайно четко.

Русская литература таинственным образом связана с нравственностью. Если брать по высшему счету, то персонажи страшной галереи мало в чем виноваты каждый в отдельности. Они существовали в духовном пространстве, где уже отзвучали мощные моральные проповеди Гоголя и Достоевского. Еще выкрикивал что-то гениальный и эгоистичный резонер Толстой, но уже умер умный и тонкий Чехов. Русская литература знала уже и Пушкина, и Лермонтова, и Тютчева, и Гончарова. Она совершила некий прекрасный законченный круг. Но горячие нравственные призывы услышаны не были — и вступил в силу загадочный закон русской литературы, по которому все последующие писатели-морализаторы будут писать хуже — и с духовной, и с художественной точки зрения.

Здесь есть неразрывная связь культуры с сознанием народа, который не смог применить полученный бесценный духовный опыт к своему коллективному опыту. Именно это состояние русской литературы зафиксировал в своих критических статьях конца 90-х годов XIX века Михаил Меньшиков. Духовный опыт гениев никогда не равен духовному опыту народа, но вот общий уровень культуры всегда зависит от уровня сознания народа. Великая американская литература XX века значительно опередила духовный уровень народа, и всю вторую половину происходило выравнивание, головокружительная игра на понижение. Наша культура слишком укоренена в отечественной почве, чтобы этот процесс протекал так быстро, но он, увы, происходит и у нас.

Это абсолютно не значит, что спонтанное появление гениев уже невозможно: в невидимом продолжении галереи Пархоменко есть и Шолохов, и Булгаков, и Платонов, и Заболоцкий, и Казаков, и Шукшин, но нравственные законы, в отличие от всех земных законов, обладают железной последова-

тельностью. Быстрота, с которой моральные приговоры совершаются сегодня, поразительна. Вспомните лица современных писателей старшего поколения! Многоголовый Дориан Грей стареет всё стремительней, и черты его лица становятся всё ужасней. Никогда не любил переводить разговор в плоскость физических недостатков, но разве лицо человека просто маска из плоти? Разве то, что происходит в нашей душе, не отражается на лице? Нет, не старость безобразит человека – парадокс, с которым столкнулся честный реалист Пархоменко.

Наши лица искажает нечистая совесть.

* * *

Михаил Осипович Меньшиков жил и умер с чистой совестью.

В начале своего литературного пути он, казалось, шел след в след за выходцами из потомственных духовных семей Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Помяловским, Златовратским, Н. Успенским, которые самым решительным образом отказались от идеалов и традиций своих предков. В Кронштадтском морском техническом училище Меньшиков, внук сельского священника, распространял среди воспитанников запрещенные издания. В 1881 году, уже являясь офицером флота, он подвергся в Петербурге обыску и аресту по подозрению в политической неблагонадежности. В 1892 году в чине штабс-капитана Меньшиков выходит в отставку и становится ведущим сотрудником, а потом фактическим руководителем газеты “Неделя”. В ту пору Меньшиков находился под громадным влиянием творчества и личности Л. Н. Толстого. В 1894 году они познакомились лично. Толстой называл Меньшикова “человеком, одаренным большими критическими способностями”, “хорошим, добрым, умным последователем”. Меньшиков помогал Толстому в организации помощи голодающим (1898), выполнял его издательские поручения.

Но уже тогда, в пору сильнейшего увлечения Меньшикова Толстым, проявились те особенности его личности, которые его сделали одним из ведущих мыслителей России. Когда философия, общественные позиции Толстого стали смещаться в область чистой политики, вступать в конфронтацию с интересами государства, армии, Церкви, Меньшиков не принял этих метаморфоз и счел своим долгом полемизировать с Толстым и его окружением – сначала мягко, а потом всё тверже.

Именно в это время произошло событие, до конца жизни определившее судьбу Меньшикова. С 1901 года он стал ведущим публицистом суворинского “Нового времени”. В 1876 году знаменитый русский издатель А. С. Суворин купил газету либерального направления “Новое время”, которая быстро стала флагманом русской православно-патриотической мысли. Популярность этой газеты в России была настолько велика, что позволила сделать ее многолетнему сотруднику В. В. Розанову такой вывод: “Было впечатление, как бы других газет не было... На много лет, на десятки лет – “Новое время” сделало неслышным ничей голос, кроме своего”.

Меньшиков вел в газете рубрику “Письма к ближним”, публикуя еженедельно по две-три статьи, не считая больших воскресных фельетонов. Помимо этого, в 1902 году ежемесячным приложением к “Новому времени” стали выходить его “Письма к ближним”, а с 1907 года – “Письма к русской нации”, – нечто вроде “Дневника писателя” Достоевского. Внешне (до 1905 года) взгляды Меньшикова мало изменились по сравнению с тем периодом, когда он писал для “Недели”. По-прежнему, как и в 90-е годы, он считал, что не народ должен служить чиновникам, а чиновники народу. “Наша бюрократия... свела историческую силу нации на нет”, – утверждал он. Таким образом, его критические взгляды на бюрократию по-прежнему совпадали со взглядами Л. Толстого, но Толстой, в отличие от Меньшикова, вообще не признавал (во всяком случае, на словах) такого понятия, как “историческая сила нации”. Толстой разоблачал бюрократию с точки зрения анархиста, а Меньшиков – с точки зрения государственника. Он считал: погибнет крестьянский двор – погибнет государство. Крестьянский двор, по его мнению, – это маленькая Россия, микрокосм, имевший те же основные признаки, что и государство. Толстой же противопоставлял крестьянский двор и государство, счи-

тая, что это явления чужеродные и даже враждебные. Меньшиков не мог этого ни принять, ни понять, ибо полагал, что народ, лишенный государственности, будет жить не “по своей воле”, как утверждал Толстой, а в чужом государстве на положении рабов. И, конечно же, он не мог разделить взглядов Толстого на Православие, считая его духовной основой русской нации и русской государственности. Но надо сказать, что Толстой, весьма скупой на похвалу, с восторгом отзывался о некоторых статьях Меньшикова даже в период охлаждения между ними: “Спасибо вам, Михаил Осипович, за ваше вступление к фельетону “Две России”. Я заплакал, читая его. И теперь, вспоминая, не могу удержать выступающие слезы умиления и печали. Но умру все-таки с верой, что Россия эта жива и не умрет. Много бы хотелось сказать, но ограничусь тем, что благодарю и по-братски целую вас” (23 января 1907). Между тем некто Абрам Рейтблат утверждает, что Толстой “в 1906 г. (курсив мой. – А. В.) прекратил общение с ним”, и лишь после этого “Меньшиков стал публиковать антитолстовские статьи, обвиняя его в ненависти к России”. Подобной лжи о Меньшикове написано очень много.

На рубеже XIX и XX веков Меньшиков-публицист совершил такой же идейный поворот вправо, какой совершили в юности влево литераторы-поповичи (да и сам он тоже). Объяснение, что он тогда якобы “продал свое перо” издателю А. С. Суворину, не выдерживает серьезной критики. Еще в либеральной “Неделе” в конце 90-х годов XIX века Меньшиков печатал статьи, которые трудно назвать “прогрессивными” (особенно это касается его выдающегося эссе “Кончина века”). Да и работы он в 1901 году у Суворина не просил: речь поначалу шла лишь о том, чтобы Суворин поддержал разорившуюся “Неделю”. Суворин, не нуждавшийся в еще одной газете, выдвинул встречное предложение Меньшикову: писать для “Нового времени”. Впоследствии Меньшиков вспоминал: “Отлично помню короткую формулу нашего “договора”, конечно, устного. “По какой же части вы хотите, чтобы я писал?” – спросил я. “Пишите что угодно и как угодно, – я хорошо знаю вас по “Неделе”, одно условие – помните, что над нами цензура...” (“Памяти А. С. Суворина”).

Таким образом, Суворина вполне устраивало, чтобы Меньшиков писал то же самое, что писал он в “Неделе”. Но это уже не устраивало самого Михаила Осиповича. И вот почему.

Чем ближе к концу подходил XIX век, тем сильнее угадывал Меньшиков опасности, которые угрожали существованию и Российского государства, и русского народа как нации в наступающем веке. Могучие древние цивилизации, и римскую, и греческую, размышлял он, сгубили не внешние нашествия, а нашествие внутреннее, которое называется нравственным разложением общества и в котором народное тело источается болезнями праздности, вседозволенности и безволия. “Никогда старое дерево не бывает таким толстым и огромным, как накануне падения. Никогда старая аристократия не бывает так откормлена, пышна, величественна, как в эпоху крушения своего, ибо внутри у нее вместо души – труха”, – с горечью писал Михаил Осипович в 1918 году, а несколькими годами раньше, в одном из “Писем к близким”, он утверждал: “Народ беспомощен вне власти, но и власть, как оказывается, бессильна без народа. О действительном единении этих двух условий – государства и народа – народ мечтает как о спасительной самозащите”.

Меньшиков во весь голос заговорил о том, о чем знали, но предпочитали не распространяться в печати ни Н. С. Лесков, ни Л. Н. Толстой, ни А. П. Чехов и что лишь проскальзывало у них в частных беседах, иногда в переписке (скажем, в письмах Чехова Суворину). Лишь после 1918 года об этом осмелились писать Бунин и Шмелев. Современный историк М. Смолин совершенно справедливо замечает: “В публицистике как писательском жанре М. О. Меньшиков – такая же знаковая величина, как в прозе граф Л. Н. Толстой или в поэзии М. Ю. Лермонтов, примерно с таким же набором pro и contra, который вызывали и вызывают до сего дня упомянутые великие писательские таланты”.

Не менее знаковой величиной Михаил Осипович является в русской критике, чему убедительное свидетельство его блестящие работы о Гоголе, Белинском, Достоевском, Льве Толстом, Чехове, Горьком, Шевченко и других писателях. Он писал статьи и очерки легко, свободно, ясно, живо, чистым, не замусоренным русским языком. При этом Меньшиков обладал необыкновенной работоспособностью. Его статьи – непринужденная беседа с читате-

лем, но каждая – диагноз, приговор. Умение Михаила Осиповича находить болевые точки государственного, культурного, народного бытия – никем не превзойдено. Фельетоны Меньшикова об украинских националистах начала XX века читаются с той же остротой (и даже, может быть, большей) сейчас, в начале века XXI.

Но вообще, чтобы понять, какой он был публицист, никаких слов и эпитетов не нужно. Меньшикова убили за его публицистику – и этим всё сказано. Других таких публицистов я лично в XX веке не знаю.

Меньшиков с полным основанием мог сказать о себе: “У каждого народа перед падением были свои пророки. Я один из русских пророков – на манер Иеремии, предсказавшего гибель Иудеи и дождавшегося своих предсказаний. Многие мои предчувствия исполнились с поразительной точностью (даже год войны – 1914 – был предсказан в августе 1912 г.)”.

Всё это не самовосхваление и не преувеличение. Словам Меньшикова можно найти сколько угодно документальных подтверждений – прежде всего в его статьях и письмах. Вот он писал 12.7.1907 года А. С. Суворину: “В отчете, что мне дал Куропаткин, я вычитал ужасную вещь. В центре гибели нашей на Востоке оказываются две польские фамилии: полковник Ванновский, наш военный агент в Японии, – доносил неверные сведения о японских силах, – и генер[ал] Жилинский (в Главном штабе); другие, верные сведения Адабаша и Русина. . . клал под сукно. Это на 135 стр. отчета. И на днях читаю приказ, что Жилинский получил 10-й корпус. . .

Именно в силу столь нехитрой штуки Куропаткин доложил Государю (этот доклад мне показывал Витте), что армия у японцев, при всем напряжении, самое большее 300 с чем-то тысяч на военном положении. А на самом деле Япония выставила 1 1/2 миллиона. И до войны о готовящихся резервах в Петербурге доносили, – но поляк клал верные сведения под сукно, а неверные (от другого поляка) – выдавал как верные. . .

Конечно, Куропаткин виноват, как и Государь, ибо такие вещи, как сила соседей, их вооружение и пр., – нельзя поручать читать своему подчиненному. Это надо самому. Иначе самодержавие – шутовской вздор и ловушка для страны”.

И что же? Именно генерал Жилинский, получивший в 1907 году под командование корпус, ставший в 1911 году начальником Генерального штаба, а в 1914-м – командующим Северо-Западным фронтом, явился одним из главных виновников нашего поражения в Восточно-Прусской операции. Почему же опасность пребывания этого человека в высшем командном составе армии понимал еще в 1907 году Меньшиков и не понимал царь, который был куда больше осведомлен? Мы еще вернемся к этой теме, а пока отметим, что человека, ощутившего в себя такой дар, который ощутил Меньшиков, далеко не в той степени волнуют деньги, которые он получает за свои писания (хотя Меньшиков получал немало), как возможность претворять свое Слово в Дело. Такие люди не продаются и не пляшут ни под чью дуду. В. В. Шульгин, которому сильно досталось от Михаила Осиповича в одной из статей, тем не менее свидетельствовал, что Меньшиков имел “такое положение и влияние, что решительно ни от кого не зависел”. Немало высокопоставленных чинов ушло в отставку после статей Меньшикова, немало тщательно законспирированных афер было разоблачено. Неоднократно высокие лица подавали на него в суд, но неизменно проигрывали.

Этой независимости, смелости, влиятельности и высокой правдивости Меньшикову не прощали. Он вызывал, что называется, классовую ненависть у журналистов и литераторов, которых за одно лишь слово против хозяев, финансовых и политических, могли мгновенно выставить из их изданий. А политические противники ненавидели Михаила Осиповича за то, что он одним своим словом достигал того, чего они могли добиться лишь большими деньгами и усилиями. Отголоски этой ненависти мы можем услышать и поныне: например, в статье уже упомянутого А. Рейтблата “Котел фельетонных объедков”: случай М. О. Меньшикова” (1999).

Кто-то из недоброжелателей Меньшикова высказал предположение, что именно с него Чехов писал Беликова, “человека в футляре”. Действительно, по фотографиям начала XX века Меньшиков производит впечатление типичного обывателя. Но это впечатление обманчиво. Да, в зрелые годы Меньшиков погрузнул, тепло одевался, боясь после частых болезней сквозняков, носил

калоши, всегда брал с зонтик и т. п. Но всё это чепуха, если вспомнить, что Меньшиков – морской офицер в отставке, русским офицером по своей психологии оставшийся до самой последней минуты, когда мужественно встретил смерть.

24.2.1918, ночью, он записал в дневнике: “Вспомнил ужасные дни, когда жизнь держалась на волоске (кроме бесчисленных незамеченных опасностей)”. И вот, в частности, какие события своей жизни перечислил Меньшиков (не всегда, к сожалению, указывая даты):

“... 12) Море – хождение по брам-стеннге, не держась ни за что. <...>

14) Море – удар вилкой в руку выше локтя – Пьяновым. <...>

16) Нападение хулигана ночью (спасла угроза кортиком). <...>

19) Выстрел Жеденова на 4 дюйма от сердца. <...>

21) Вызов на дуэль: Фок.

22) “ Эбергард.

23) “ Куропаткин.

24) “ Кнейгельс.

25) Проект дуэли с 12 (недурно! – **А. В.**) финляндскими редакторами. <...>

28) Под выстрелами первые дни революции.

29) Полет на аэроплане с Мацевичем.

30) Уносило в океан отливом в Бресте”.

Всего Меньшиков насчитал 33 подобных случая. Сомневаюсь, чтобы чеховский Беликов был способен вызвать на дуэль 12 финляндских редакторов (или принять вызов от них)!

Меньшиков в жизни был столь же смел, как и в своих статьях.

И наверное, поэтому, “кроме Меньшикова, трудно назвать другого русского литератора, который бы так полно и объективно запечатлел в своем творчестве бытие России последних двух десятилетий перед революцией 1917 г.” (В. В. Кожин).

На пороге грозных времен

Посмотрим, что представляла собой Россия в период создания Меньшиковым циклов статей “Письма к ближним” и “Письма к русской нации”. Страна, три четверти населения которой были крестьяне, оставалась к началу XX века так называемым традиционным обществом. Сейчас это уже кажется странным, но когда Лев Толстой осуждал в своих статьях строительство железных дорог и телеграфных линий, считая их бесполезными для духовного развития людей, это не вызывало особого удивления даже у тех, кто активно пользовался этими удобными нововведениями. Технический прогресс в России уже реально существовал, а большинство людей смотрели на него с настороженностью и не считали необходимым его дальнейшее развитие. Вопросы технического переустройства в *традиционном обществе* не занимают важного места, потому что люди, как правило, работают не в одиночку, а “всем миром”, общиной, когда можно добиться желаемых результатов и без особых приспособлений, за счет избытка рабочей силы. Кроме того, человеку традиционного общества дороже обычаи предков, чем нововведения. Он живет в согласии с окружающей природой, не требуя от нее большего, чем она может дать, вопреки известному принципу: “Не стоит ждть милостей от природы, нужно взять их самим”. Стремясь, как все люди, к лучшей жизни, патриархальный крестьянин, однако, не склонен добиваться *постоянного улучшения ее*, как это свойственно человеку *технократического* (зависящего от развития техники) общества. Все происходящее с ним и вокруг него он считает *Промыслом Божиим*, а не людским произволением. Поговорки: “Без Бога ни до порога”, “Слава Богу за всё!” (то есть и за хорошее, и за плохое), “День прожит, и слава Богу!”, “Всех денег не заработаешь” – являются чрезвычайно характерными образцами общинной психологии на Руси. Эта психология, безусловно, имеющая свои достоинства с точки зрения сохранения природы, духовного и физического здоровья людей, вступала в резкое противоречие с психологией западного мира. Так, впрочем, повелось уже издавна, но если еще в начале XIX века Россия могла быть великой европейской державой, отставая в техническом отношении от других, то в конце века это

уже оказалась невозможно. Развитие России носило противоречивый, чреватый будущими кризисами характер, когда технический прогресс был как бы сам по себе, а жизнь — сама по себе. От этого страдало и государство, и сам народ. Русский народ живёт плохо не потому, что мало работает, утверждал Меньшиков, а потому, что работает много, сверх сил, направляя избыток своей работы соседям-иностранцам.

Не менее остро стояла проблема отношения народа к власти.

В свете сегодняшних дискуссий о демократии, которую часто отождествляют с либерализмом, не следует забывать, что накануне реформ 1861 года русская интеллигенция была едина в своем мнении относительно необходимости демократизации страны. Даже не западники и демократы-разночинцы, а *славянофилы*, которых либеральные и советские историки без всяких оснований объявили противниками всего прогрессивного и передового, наиболее активно участвовали в подготовке крестьянской реформы и первыми открыто заявили о необходимости созыва выборного представительного органа — Земского собора, установления гласного суда присяжных, отмены телесных наказаний и смертной казни. Но при Александре III многие монархисты (в частности, редактор “Московских ведомостей” М. Н. Катков) пришли к выводу, что демократизация России неминуемо будет носить торгашеский, циничный характер на западный манер. Очевидно, служить заменой идее западного парламентаризма могла бы идея *народной монархии*, то есть наделение простого народа правом свободно, через голову местных чиновников, помещиков и буржуазии, обращаться за справедливостью к верховной власти.

Увы, монархия в России не была народной, несмотря на то, что некоторые историки (И. Солоневич, например) поспешили назвать ее именно так. И Александр III, и Николай II правили посредством назначенных чиновников, считая это исторической традицией самодержавия. Они забывали, что демократические формы в виде соборности (Земские соборы, боярские думы) были неотъемлемым признаком раннего самодержавия, что сама династия Романовых была избрана на царство путем голосования на Земском соборе, а первые Романовы (Михаил Федорович, Алексей Михайлович) созывали такие Соборы всякий раз, когда требовалось принять важное решение, — например, о помощи захватившим Азов донским казакам или о присоединении Украины к России. Притеснения земств, городских дум, суда присяжных были, следовательно, не борьбой с “чуждыми веяниями”, а забвением традиционной на Руси идеи соборности.

“Бюрократия имелась у нас и в Московскую эпоху, — писал Меньшиков, — но и выше нее стояла группа, которая составляла, так сказать, живой Кремль монархии с такими башнями, какими возвышались Романовы, Курбские, Воротынские, Трубецкие, Шуйские, Пожарские. Если весь народ отстаивал Россию от великой Смуты, то предводительство в этом подвиге принадлежало патриаршеству и боярству. Восстановление древнего органического стиля нашей государственности было бы “возвращением домой” после героического похода Петра Великого на чужую сторону. Это возвращение к родной земле, к ее корням, к ее красоте и ее заветам — было бы встречено народом как сказочная мечта”.

Вот объяснение того парадоксального, на первый взгляд, факта, почему Меньшиков, будучи убежденным сторонником самодержавной монархии, был одновременно приверженцем традиционной народной демократии или, если угодно, соборности. Но ведь идея этого “двуединства” принадлежала не ему, а первому русскому *абсолютному* монарху Иоанну IV Грозному: именно он созвал впервые Земский собор!

Конечно, от так называемой “думской демократии” Меньшиков был не в восторге. Он считал, что Государственная Дума в том виде, в котором она появилась в 1906 году, лишь дискредитирует идею русской соборности. Но Меньшиков понимал, что какую бы форму правления власть в России ни выбрала — народное самодержавие или конституционную монархию на западный лад, она не могла избежать созыва всероссийского представительного выборного органа — Собора или Думы. Этого требовали и настроения внутри страны, и ее международный престиж. Ведь в тех странах, где России волею судеб самой приходилось устанавливать власть — на Ионических островах в 1800 году, в Греции в 1827 году, в Болгарии в 1878 году, — она неизменно делала это через народное представительство — парламент (в Болгарии весьма даже

демократический по тем временам). Парламент (сейм) существовал и в автономном Великом Княжестве Финляндском, входившем в состав Российской Империи. Это было своеобразной формой признания той роли, которую играли в XIX веке демократические институты – но тем более странным казалось, что для себя Россия их отвергает!

Все говорило в пользу того, чтобы молодой Николай II, используя немалый экономический задел, оставленный ему мудрым отцом, не спеша и тщательно занялся бы политическими вопросами и подготовил бы со своими помощниками конституцию, которая устроила бы и общество, и царскую семью. Но в самом начале своего царствования, 17 (25) января 1895 года, принимая делегации дворянства и земств из более 70 губерний России, царь в своей короткой речи назвал предложения привлечь выборных от народа к управлению государством “бессмысленными мечтаниями” и сказал, что будет “охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель”. Это была его первая (и, увы, не последняя) крупная политическая ошибка. Дело в том, что в 1895 году Николай II мог дать обществу любую конституцию, прежде всего выгодную ему самому, и общество ее приняло бы. Между тем времени, отпущенного ему историей для постепенной политической модернизации самодержавия, оставалось не так много. Когда через 10 лет, в условиях нарастающей революции 1905 года, царю все же пришлось согласиться на конституцию (в целом для него невыгодную), все это логично восприняли как слабость. Стало быть, не “твердость и неуклонность” проявил Николай II 17 января 1895 года, а, наоборот, ослабил позиции самодержавия. Идеальный монархист Меньшиков Николая откровенно недолюбливал – и до Февраля 1917 г., и особенно после. “Он был не настоящий человек на крайне трудном месте – и был раздавлен как строитель здания, поверивший бутафорским балкам”, – такую характеристику дал он царю в дневнике 1918 года.

Будучи после упразднения Петром I патриаршества на Руси формально главой Православной Церкви, царь, вероятно, забыл, что само понятие “соборность” вовсе не политическое и ведет свою историю даже не с Земских, а церковных Вселенских и Поместных соборов. Христианская церковь, которая самим устройством своим не приемлет светских форм демократии (православные в России говорят так: “Демократия в аду, а на небе – Царство”), решала, однако, в первые века христианства все важнейшие вопросы вероисповедания и обрядности демократическим, совещательным, *соборным* путем. А в начале XX века Православная Церковь, поставленная в государственном девизе России “Православие, Самодержавие, Народность” выше самодержавия, не только не имела возможности выбрать главу из своей среды, Патриарха, но и не могла собираться на Поместные (всероссийские) и Архиерейские (епископские) соборы! Меньшикова особо возмущал тот факт, что на деятельность Православной Церкви, считавшейся в России официальной, были наложены такие ограничения, каких не существовало по отношению к другим церквам и конфессиям! Это говорило о том, что власть, называвшая себя православной, на самом деле не доверяла Церкви и боялась ее духовной самостоятельности. Церковь фактически управлялась светским лицом, обер-прокурором Священного Синода, напрямую подчиненным царю. Она становилась, таким образом, частью системы государственной власти и невольно несла ответственность за все ее просчеты, не имея права собственного голоса. А голос Церкви в обществе обязательно должен быть слышен, подчеркивал Меньшиков (одна из его статей так и называется – “Голос Церкви”).

“Христианство прививалось, – говорил Меньшиков, – всегда лишь одним способом. Приходили апостолы, увлекали своей проповедью небольшое число последователей, строили крохотные церковки. Но эти церковки были огромны внутренним объемом веры, которая быстро – как река в половодье – выступала из берегов. Вот естественный и разумный способ насаждения христианства. У нас же хотят наоборот: сначала создать храмы, а потом будто бы сами собой откуда-то явятся и верующие. Боюсь, что этот расчет ошибочен”.

Оценивая воззрения Михаила Осиповича относительно Церкви, следует, однако, иметь в виду, что в религиозной области определенное влияние толстовства на него сохранилось и после расхождения с Толстым. Будучи верным членом Синодальной Церкви, Меньшиков так и не изжил в себе симпатию к сектантам, – в частности, к духоборам. Нет-нет, и проскакивают в его раз-

мышлениях на тему религии элементы протестантизма, перенесенные на русскую почву Толстым. Так, в дневнике 1918 года он совершенно серьезно противопоставляет бойскаутскую молитву православному молитвенному канону.

Непросто развивались отношения властей и старообрядцев. Часть из них еще в начале XIX века были признаны официальной Православной Церковью *единоверцами* с вытекающими из этого равными с остальными православными правами, но в самой старообрядческой Церкви было много расколов (“согласий”), не признававших единоверчества, так что тянувшийся еще с XVII века конфликт так и оставался нерешенным. Духовное влияние старообрядцев едва ли могло быть сильным: их в конце XIX века было всего 2,6% от всего населения России, или 2204596 человек. Но гораздо больший процент составляла старообрядческая прослойка в русском купечестве, обладавшая значительными капиталами. Как и еврейская буржуазия, купцы-староверы в большинстве своем были настроены антиправительственно, К решению этой проблемы правительство во главе с П. А. Столыпиным приступило лишь в 1911 году, в последние годы самодержавия.

В России по-прежнему существовала (до 1905 г.) предварительная цензура печати. Будучи достаточно эффективным орудием борьбы с безнравственностью в обществе, она все более теряла политический смысл. Дело в том, что враги самодержавия, особенно профессиональные литераторы и журналисты, за XIX век научились умело обходить цензуру, пользуясь понятным своим читателям-единомышленникам языком недоговоренностей и намеков (“эзоповым языком”), а сторонники самодержавия, естественно, такой привычки не имели. Но им тоже не давали говорить открыто, в частности, критиковать то, что, по их мнению, мешало развитию самодержавия. В годы дискуссии западников и славянофилов власть подвергала цензурным преследованиям и тех, и других, и славянофилов, как ни странно, даже больше. Западники еще кое-как издавали свои книги в России, а вот славянофилы почти полностью — на Западе! Эта тенденция лишь укрепилась в начале XX века, с чем Меньшиков впрямую столкнулся в “Новом времени”, играющем роль своеобразной оппозиции внутри монархического лагеря. В результате таких абсурдных притеснений православно-монархические издания хирели, а либеральные, наоборот, несмотря на все старания цензуры, набирали силу.

Нелогичным представлялось Меньшикову и тогдашнее национально-территориальное устройство России. Оно вовсе не было полностью *унитарным* (состоящим из одних только губерний), как ничтоже сумняшеся утверждают теперь некоторые политики и историки. У одних народов (финнов, поляков, туркменов, узбеков, якутов и других) были свои национальные области, а у других почему-то нет. Но и проживающие в пределах исторических областей народы не были равны в правах. Финляндия, к примеру, считалась почти за границей, имела парламент и даже собственную денежную единицу (марку). Но, разрешая это, власть обрекала себя сталкиваться с подобными требованиями от других народов. Многонациональное государство не может бескризисно существовать, когда одним народам можно то, что нельзя другим. Законы должны быть едины для всех.

Особенно много проблем доставляло российской власти присоединение Польши. Участие России в разделах ослабевшей Польши, своего давнего недруга, было отчасти вынужденным, так как в ином случае Германия и Австрия совершили бы раздел исторических древнерусских земель и без России. Но на протяжении XIX века стремление к независимости 7 миллионов поляков, населявших Царство Польское, не только не ослабевало, но все больше усиливалось. Это объяснялось не только тем, что независимость поляки утратили сравнительно недавно, но и тем, что исторически они считали себя частью Запада, а не Востока. То же самое можно было сказать о финнах.

С польской проблемой непосредственно связана была *еврейская*. На территории бывшей Речи Посполитой и захваченных ей некогда украинских и белорусских землях проживало в начале XX века около 5 миллионов евреев. В России передвижения евреев, бывших польских подданных, ограничивались так называемой *чертой оседлости*, являющейся границей их расселения в Польше, Литве, Белоруссии и Малороссии. Это были весьма плодородные земли, но евреи в большинстве своем предпочитали крестьянскому труду торговлю и ремесла. Те из них, кто исповедовал иудаизм, не могли учиться в гимназиях и университетах вне “черты оседлости”, занимать госу-

дарственные и военные должности (это ограничение существовало и в Польше). Причины запретов носили скорее религиозный, чем национальный характер. Иудаизм, если коротко, представляет собой радикально модернизированный вариант веры, которую евреи исповедовали в Палестине еще до Рождества Христова. Иисуса Христа иудаисты не признают не только Сыном Божьим (Богочеловеком), но даже и пророком (мессией), в отличие от мусульман. Это дало повод христианам видеть в иудаистах продолжателей дела тех книжников и фарисеев, которые в I веке новой эры осудили на смерть Иисуса Христа. Таким образом, иудаизм и христианство, выходя как религии из одного библейского корня (Ветхого завета), совершенно расходятся по отношению к Новому завету и, соответственно, заложенному в нем учению о спасении человечества. (Вопросы взаимоотношений иудаизма и христианства Меньшиков детально исследует в статье “Тайны Талмуда”). И вот, чтобы оградить христиан Восточной Европы от иудаизма и предотвратить межрелигиозные и межнациональные столкновения, которых на западе империи хватало, российские власти запретили евреям переселяться на восток и даже временно проживать там без особого разрешения.

Необходимо заметить, что запреты власти и Церкви не носили расового, противоеврейского характера. Россия никогда не высылала евреев за границу, как это делали в средние века почти все крупнейшие государства Европы, не жгла их на кострах инквизиции. С крещеных евреев снимались абсолютно все ограничения. Не знали никаких ограничений и придерживавшиеся иудейского вероисповедания караимы, жившие главным образом в Крыму, так как они заявляли, что покинули Палестину еще до распятия Христа и не испытывают к Нему никакой враждебности. Выдающийся русский поэт и государственный деятель Г. Р. Державин, работая в “черте оседлости”, очень много сделал для юридического равноправия евреев, независимо от того, перешли они в Православие или нет.

К тому же ограничения в России существовали и для самих русских, и ограничения, по мнению Меньшикова, вопиющие. Он говорит о них в статье “Для кого воевала Россия”. Россия боролась за овладение Кавказом 50 лет. “. . . В отвоёванную часть Кавказа в 1819 году переселили 500 семейств. . . Вы думаете, русских? Нет – *вюртембергских*, из которых были образованы немецкие колонии в Тифлисской и Елисаветпольской губерниях. Колонистам были отведены лучшие казенные земли и даны всевозможные льготы. Затем, после войны 1826–1828 годов, мы переселили в Закавказье в течение двух лет свыше 40000 душ. . . русских поселенцев? Нет – *персидских* и свыше 84000 *турецких армян*. Им были отданы лучшие земли в Елисаветпольской и Эриванской губерниях, а также в трех уездах Тифлисской губернии. Скажите, это похоже сколько-нибудь на русскую национальную политику?

Для водворения армян было отведено 200000 десятин казенных земель и куплено более чем на 2 000 000 рублей земли у мусульман. Неужели же, однако, у самой России тогда не было народа, нуждавшегося в земле?.. В итоге нашей “национальной” политики на Кавказе за 100 лет государство на завоеванных им пустопорожних землях поселило 1 200 000 инородцев и всего лишь 240 000 человек русских, в том числе сельских переселенцев всего 140 000 душ”. При этом в 1879 году русским было запрещено селиться в сельской местности. По поводу этой “черты оседлости” “прогрессивная общественность” молчала.

“Когда речь пойдет о нарушении прав еврея, финна, поляка, армянина, подымается негодующий вопль: все кричат об уважении к такой святыне, как национальность, – возмущался Меньшиков. – Но лишь только русские обмолвятся о своей народности, о своих национальных ценностях, подымаются возмущенные крики – человеконенавистничество! Нетерпимость! Черносотенное насилие! Грубый произвол!”

“Мы вовсе не хотим быть, – резюмирует Меньшиков, – подстилкой для целого ряда маленьких национальностей, желающих на нашем теле располагаться и захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого, но наша – Русская Земля – должна быть нашей”.

Противоречия между православными христианами и иудеями он, как известно, уделял особое внимание, учитывая тот резонанс, который они вызывали в обществе. Надо сказать, что еврейский вопрос в качестве провокации еще в 1881 году широко использовали революционеры, которым тогда были

необходимы *любые* народные волнения. Некоторые члены исполнительного комитета “Народной воли” 30 августа 1881 года изготовили прокламацию, призывавшую к погрому евреев. Историк Ю. И. Гессен писал в “Еврейской энциклопедии” (т. 12): “...члены партии считали погромы соответствующими видами революционного движения; предполагалось, что погромы приучают народ к революционным выступлениям”. 200 с лишним лет, после еврейских погромов на Украине во время восстания Богдана Хмельницкого (повстанцы относились к евреям как к союзникам поляков), ничего подобного на юге и западе России не наблюдалось. Межнациональные столкновения вспыхнули вновь в апреле 1881 года, когда террористическая деятельность “Народной воли” достигла высшей точки (1 марта 1881 года был убит император Александр II). Предположение, что их организовала сама власть, чтобы отомстить революционерам-евреям, представляется сомнительным в свете современных исторических исследований. Редкое проявление самоволия и самосуда в России не перерастало в выступление против самой власти. Так было и во время еврейских погромов в Борисполе и Нежине в июле 1881 года, по свидетельству революционера В. Л. Бурцева. Правительство ввело в Уложение о наказаниях специальную статью о преследовании погромщиков. Когда же и эта мера не приносила результатов, полиция и войска открывали по нарушителям закона огонь. В первый же день беспорядков в Нежине было убито 10 погромщиков и множество ранено. Напомним, что после процесса убийц Александра II было казнено вдвое меньше людей – 5 человек. Это являлось своеобразным свидетельством, что еврейские погромы, с одной стороны, и рост антиправительственных настроений среди широких слоев евреев, с другой, были не менее опасны для государства, чем террор революционеров. Поэтому обвинять государство в еврейских погромах абсурдно, что не раз подчеркивал Меньшиков.

Необходимо помнить и то, что до ноября 1905 года в России не существовало русских националистических организаций, а нелегальные еврейские существовали – это и сионисты, и националисты марксистского толка (“Бунд”, “Поалей Цион”), обладавшие, кстати, немалыми финансовыми и политическими возможностями, так как их поддерживала вся мировая еврейская диаспора. Еврейские погромы в Бессарабии, Белоруссии, Литве, Малороссии (в Великороссии их не было никогда) не шли ни в какое сравнение с еврейскими погромами в средневековой Западной Европе, где были тысячи жертв при отсутствии жертв среди погромщиков. В российских же погромах 1903–1906 годов было примерно равное количество пострадавших с обеих сторон, что позволяет рассматривать эти события скорее как кровавые межнациональные столкновения с политической подосновой. Трудно согласиться и с тем, что многими историками еврейские погромы 20–28 октября 1905 года (наиболее массовые) вычленяются из контекста революционных событий тех дней. Получается, что существовала чисто революционная резня и чисто национальная резня. Но кто объяснит, почему в одних случаях это называлось погромами, а в других случаях – ученым словом “экспроприация”, означающим вооруженные ограбления революционерами, в том числе большевиками (Камо, Сталин), банков и контор крупных фирм? Разве кровавые действия террористов-революционеров, многие из которых были выходцами из черты оседлости и других национальных окраин, не являются погромами русских предпринимателей, чиновников и полиции? – спрашивал читателей Меньшиков. (В целом революционные террористические организации, по подсчетам американского историка А. Гейфман, убили с 1901 по 1917 год 17 тыс. человек, что многократно превышает количество жертв погромов за это же время). Но самое поразительное, что зачастую было совершенно невозможно отделить “революционное” начало крестьянского бунта (поджог помещичьей усадьбы и волостного правления) от его “контрреволюционного” продолжения (погрома в еврейском местечке), особенно на Украине. Почему тщательно вуалируется давно установленный факт, что мятежами против власти и еврейскими погромами зачастую занимались одни и те люди? А между тем это было своеобразной и печальной революционной традицией, поскольку в 1825 году солдаты Черниговского полка, спровоцированные офицерами-декабристами на бунт, действовали именно так. История сохранила любопытные фамилии пострадавших от декабристских погромов – Бейлис, Троцкий и Бродский. Добавим, что поведение бойцов Красной Армии в бывшей черте оседлости в

1918–1920 годах мало отличалось от поведения солдат Черниговского полка в 1825-м.

Еврейские погромы явились прямым следствием революционного террора и анархии, утверждал Меньшиков в статьях 1905–1907 годов, на что, надо признать, у него было немало оснований. Но те политики и журналисты, которые явились подстрекателями кровавых событий революции, стали, не желая признавать свою вину, называть “идейными организаторами погромов”... Меньшикова и других публицистов “Нового времени”. Им приклеили ярлык “черносотенцы”, хотя ни Меньшиков, ни его коллеги не были членами так называемых черносотенных организаций (Союза русского народа и других).

К тому же не существует никаких юридических оснований называть СРН и его союзников “погромными организациями”, как это делала левая печать в те годы. После образования СРН в ноябре 1905 года в Российской империи произошло три еврейских погрома – два в польских городах и один в латышском, где так называемые черносотенцы не имели никакого влияния. Неправоммерно их всех относить к хулиганам и мародёрам ещё и потому, что до 1913 года, когда Священный Синод Православной Церкви запретил священникам принимать участие в политической деятельности, членами СРН и других “черносотенных” партий являлись практически все видные православные священнослужители, в хулиганстве и мародёрстве не замеченные, – в том числе будущие Патриархи Московские и всея России Тихон (Белавин), Алексей (Симанский), местоблюститель Патриаршего престола митрополит Агафангел (Преображенский). Почётным членом почти всех монархических союзов был необычайно популярный в народе священник Иоанн Кронштадтский, один из наиболее чтимых русских святых XX века. Священники нередко даже руководили монархическими организациями (протоиерей Иоанн Восторгов, архимандриты Макарий [Гневушев] и Виталий [Максименко]).

Очередной виток полемики по еврейскому вопросу между Меньшиковым и лево-либеральными публицистами разгорелся во время так называемого дела Бейлиса (1911–1913). Будем говорить прямо: в полемическом задоре Меньшиков был человеком абсолютно “неполиткорректным”, как сейчас говорится. Нельзя, конечно, сказать, что он не стремился к объективности. “А что вы скажете о г-не Гольцисоне? – писал, например, Михаил Осипович. – Это чистокровнейший еврей, и тем не менее страстный композитор русского церковного пения и, как говорят, большой русский патриот. Вот вам иллюстрация нашей национальной силы”.

Но вообще объективизм не был коньком этого мыслителя. Его отличительная черта – крайняя субъективность при выражении идей, весьма, как ни парадоксально, исторически объективных. Например, размышления Меньшикова об истоках анархии в первой русской революции (в духе пословицы “Посеешь ветер, пожнёшь бурю”) были через несколько лет подхвачены авторами известного сборника “Вехи”. А во время революции эти самые будущие “веховцы” с пеной у рта спорили с Меньшиковым и его единомышленниками! Он нетерпимо и даже оскорбительно высказывался о своих литературных и политических врагах, но мы не можем не признать, что кровавую бойню, устроенную революционерами после 1917 года, предсказал заранее именно Меньшиков, а его оппоненты тогда кричали ему: “Клевета!” Потом, сбжав в эмиграцию, они, подобно “веховцам”, начали говорить о революции то же самое, что и Меньшиков, но имени его при этом не упоминали...

Получается, что “несдержанность” Меньшикова – прежде всего полемический прием (тот же пассаж о евреях как о “низшей расе” завершается признанием, что они умны). Но резкий полемический прием далеко не всегда ставит под сомнение содержание произведения. Я был бы не очень честен и профессионален, если бы выделял в творчестве Меньшикова только то, что более или менее соответствует нынешним понятиям о толерантности. Революционеры, посеяв в 1905 году ветер, получили бурю, которая впоследствии не пощадила многих из них. В идейной сфере этот процесс начался еще раньше. Так, публицистика Меньшикова – тоже буря. “Буря и натиск”. А где вы видели осторожную или “толерантную” бурю?

Дело Бейлиса всколыхнуло в 1911–1913 годах всю Россию и, конечно, не оставило равнодушным Меньшикова. И, конечно же, нельзя забывать, что трагическая судьба Михаила Осиповича непосредственно связана с его статьями о еврейском вопросе и о деле Бейлиса. В своих письмах из валдайской

тюрьмы в сентябре 1918 года он писал: “Я обвиняюсь в погромных статьях против евреев”, “члены и председатель чрезвычайной следственной Комиссии евреи и не скрывают, что арест мой и суд — мсть за старые мои обличительные статьи против евреев”. А в последних письмах Меньшиков уже прямо указывал, кто и за что его хочет убить: “ЗАПОМНИТЕ — умираю жертвой еврейской мести не за какие-либо преступления, а лишь за обличение еврейского народа, за что они истребляли и своих пророков”, “Если умру, то невинным, за статьи, когда-то писанные против евреев”. Что же мы, и в год 150-летия Меньшикова сделаем вид, что этих писем не было, что его убили некие “обобщенные большевики”?

Говорят, что умолчания о таких жертвах еврейского фанатизма, как Меньшиков, нужны для того, чтобы не лить воду на мельницу фашистов. Но подобные рассуждения оскорбительны по отношению к русскому народу, заплатившему в 1941–1945 годах самую большую цену за спасение еврейского народа от полного уничтожения фашистами. Вот немцы — те, да, пусть молчат в тряпочку, коли уничтожали евреев. А у нас по всем законам — и земным, и Божеским — не может быть никакого “комплекса вины” перед евреями. Пусть он будет у тех, кто организовывал “холокост”. А мы как освободители еврейства имеем полное право и даже нравственную обязанность критиковать его, когда оно того заслуживает (например, за массовые убийства палестинских детей), невзирая ни на какой “холокост”.

Меньшиков заплатил жизнью за свои убеждения, и уже одного этого обстоятельства достаточно, чтобы люди имели ясное представление об этих убеждениях, независимо от того, нравится кому-то это или не нравится.

“Тяжкое, страдальческое дело”

Распространенное в советское время мнение, что дело Бейлиса “должно было сыграть роль судебного вступления к внесудебной расправе — погромной” (БСЭ, вып. 1, 1927, т. 5, с. 254), не выдерживает мало-мальски серьезной критики. Его даже и опровергать не надо, достаточно просто напомнить: кроме дела Бейлиса, в Киеве в том же 1911 году было ещё одно громкое дело, связанное с обвинением еврея в убийстве — и не кого-нибудь, а самого премьер-министра Столыпина. Так вот: Менделя Бейлиса официально обвинили в преступлении, совершенном 12 марта 1911 года, 3 августа того же года, а Мордко Богрова военно-полевой суд приговорил к повешению 7 сентября 1911 года за убийство, совершенное за неделю до того, 1 сентября. Суд же над Бейлисом состоялся только через два с лишним года. Таким образом, если кому-то был и нужен “судебный повод” для еврейских погромов, то он уже существовал после 7 сентября 1911 года, и дополнительного повода в виде тщательно подготовленного суда над Бейлисом вовсе не требовалось, если бы государство действительно погромов хотело. Но оно их не хотело, как следовало из циркуляров, отправленных из Петербурга в Киев и после ареста Бейлиса, и после ареста Богрова. Указывалось на необходимость предотвратить их любыми мерами, “вплоть до самых суровых”. Подобные указания исходили и от П. А. Столыпина, убитого вскоре в том же Киеве, о чем писал Меньшиков в статье “Нужен сильный” (1911).

Полагаю, что непредвзятая оценка позиции Михаила Меньшикова в столь запутанном деле, как дело Бейлиса (высказанной, в частности, им в статьях “Маленький Золя”, “Еврейская победа”, “Тень убитого”), практически невозможна, если не выделить в проблеме так и не раскрытого убийства подростка Андрея Юшинского три разных аспекта — юридический, национально-политический и мистический. Сейчас они существуют в общественном сознании в тесном переплетении, что разрушает на корню все попытки беспристрастного анализа. Но это непростая задача, требующая отдельного и подробного исследования.

Здесь же следует сказать, что дело о страшном убийстве Андрея Юшинского приобрело крайне скандальный характер задолго до ареста еврея Менделя Бейлиса (а случилось это на пятом месяце следствия). Обстоятельства этого дела до сих пор малоизвестны, поэтому многие нюансы в статьях современников о нем, в частности, Меньшикова, просто непонятны. Напомню, 20 марта 1911 года в Киеве, в земляной пещере на берегу Днепра, был най-

ден труп 13-летнего ученика православного духовного училища Андрея Ющинского, пропавшего за неделю до того. На теле мальчика было 47 колотых ран, произведенных, по заключению судебно-медицинской комиссии, с целью вызвать обильное кровотечение. Лишь последняя рана могла быть смертельной, но она была нанесена в уже полностью обескровленное сердце ребенка. Смерть Андрея Ющинского последовала от потери почти всей крови, однако кроме незначительных пятен и потеков на одежде, следов крови ни на теле мальчика, ни на земле в пещере обнаружить не удалось. Следовательно, он был убит в другом месте и лишь потом перенесен в пещеру. Эксперты установили, что перед убийством мальчика раздели, а после убийства обмыли и одели в прежнюю одежду.

Многих, особенно православных людей, поразил тот факт, что, несмотря на недельное пребывание тела мальчика в пещере, следы разложения на нем полностью отсутствовали (в том числе и трупный запах) и не появились до самого погребения.

Первые месяцы следствия начальник сыскного отделения Евгений Мищук и присланный для розыска из Сквирского уезда становой пристав Николай Красовский фактически занимались расследованием версий, выдвинутых сыщиками-любителями, журналистами либерально-эсеровской газеты “Киевская мысль”^{*} Барщевским, Ордынским, Бразуль-Брушковским и Перехристом. Полиция брала под стражу то Александру и Луку Приходько, мать и отца убитого Андрея Ющинского (не позволив им даже присутствовать на похоронах мальчика), то его дядю по матери Федора Нежинского, то дядю по отцу Василия Чиркова, то снова Луку Приходько, а также его отца и братьев, то владельца переплетной мастерской Андрея Колбасова, то 72-летнего дворника Степана Васильева... Искали каких-то цыган, которые, по мнению редактора киевской газеты “Последние новости” писателя-юмориста Григория Брейтмана^{**}, совершили убийство Андрея Ющинского в ритуальных целях. Но у всех задержанных было алиби, а следов цыган пребывания в Лукьяновке (район Киева, где произошло преступление) и ее окрестностях обнаружить не удалось. Следствие зашло в тупик. Это признал на процессе по делу Бейлиса Красовский: “Но теперь, когда все было проверено... и все улики совершенно отпали, алиби было установлено вполне...”

Самостоятельным расследованием занимался еще один человек – киевский студент Владимир Голубев, в 1914 году получивший одним из первых Георгиевский крест на германской войне (посмертно). Побеседовав с другом Андрея Ющинского Женей Чеберяковым, Голубев выяснил, что последний раз Ющинского видели на кирпичном заводе Марка Зайцева, закрытом по причине праздников. Но следователя Мищука рассказ Голубева не заинтересовал. Однако сыскной агент Полищук допросил Женю Чеберякова и его сестер и установил, что 12 марта около 8 часов утра они вместе с Андреем Ющинским действительно были на территории кирпичного завода и катались на “мяле” (приспособление для разминания глины). Надо отметить, что завод Зайцева – был не просто завод, а некий, как сейчас говорят, еврейский религиозно-благотворительный центр. На его территории (довольно большой, около пятнадцати десятин) находились синагога, построенная накануне убийства Ющинского, богадельня и хирургическая лечебница. Посторонних в усадьбу Зайцева не пускали. Тем не менее дети проникали туда через дыры в заборе. Утром 12 марта Мендель Бейлис, его приятель Файвель Шнеерсон (родственник знаменитого любавичского раввина Шнеерсона) и еще один неизвестный увидели играющих детей и, по их словам, набросились на них с руганью. Бейлис будто бы схватил за руку Ющинского и потащил его к так называемой гофманской печи (для обжига кирпичей), а другие дети убежали. С тех пор Ющинского больше никто не видел. Дети Чеберяковы показали также, что накануне убийства к Бейлису приходили какие-то “чужие люди в необычных черных накидках и высоких черных шляпах”. Один из этих людей, как им показалось, был вместе с Бейлисом и Шнеерсоном у “мялы” 12 марта. После

^{*} В этой газете частенько печатался и Л. Троцкий под любопытным криптонимом “SS”.

^{**} О Брейтмане как об авторе газетных небылиц есть стихотворное упоминание в романе М. Булгакова “Белая гвардия”: “Игривы Брейтмана остроты, / И где же сене-гальцев роты?”.

убийства Ющинского неизвестных в необычных одеждах тоже никто не видел. Позже следствие предположило, что это могли быть австрийские хасиды (члены иудаистской секты) Ландау и Эттингер, родственники Марка Зайцева и его жены, находившиеся в тот день в Киеве.

Между тем в конце мая Красовский производил обыск на заводе Зайцева, но он, по его словам, “не дал результатов”.

В ночь с 21 на 22 июля Бейлис был задержан начальником Киевского губернского жандармского управления Н. Н. Кулябко “в порядке охраны”, то есть для ограждения Бейлиса от внесудебной расправы. Нет оснований сомневаться, что именно так оно и было: Кулябко трудно обвинить в неприязни к евреям. Это именно он выдал 1 сентября 1911 году Мордко Богрову билет в Киевский оперный театр, где присутствовали царь и Столыпин.

26 июля на завод снова прибыл Красовский. Он провел обыск в квартире Бейлиса, выявив ложность показаний его сына Пинхуса (который якобы “не знал” Андрея Ющинского и Женю Чеберякова, хотя другие дети утверждали, что они часто играли вместе) и сообщил следователю по особо важным делам Фененко, что убийство могло быть совершено на заводе Зайцева, в помещении гофманской печи, где найдена такая же глина, как на вещах убитого (14 марта 1913 года это подтвердила экспертиза). Около заводской печи обнаружили также окровавленный нож и в печи – окровавленный мешок.

Кулябко провел очную ставку между Женей Чеберяковым и Менделем Бейлисом и Пинхусом Бейлисом, на которой Женя заявил, что “он видел, как Бейлис на заводе гнался за Ющинским”.

Но тут Красовский, рапорт которого лег в основу предъявленного прокуратурой 3 августа Бейлису обвинения (после чего тот был официально взят под стражу), повел себя непонятным образом. Он заявил журналисту “Киевской мысли” Бразуль-Брушковскому, что арестовали невинного человека и что на заводе Зайцева “никаких обстоятельств, которые бы имели отношение к убийству, не было установлено”. Найденные на заводе окровавленные нож и мешок он тоже назвал “не имеющими отношения к делу”. Вместе с Мищуком Красовский стал разрабатывать иную версию – о причастности к убийству Веры Чеберяковой*, матери детей, друживших с Андреем Ющинским. Вскоре после задержания жандармами Бейлиса Чеберякова была арестована полицией на основании полученного Мищуком письма, что мальчика убили гости Веры Чеберяковой, уголовники, разговор которых мог подслушать Андрей Ющинский. Эта версия тоже лопнула, как мыльный пузырь: было установлено, что мальчик никогда не бывал в доме Чеберяковых, а у всех упомянутых в письме преступников тоже было алиби – кто-то сидел в кутузке, а кто-то находился в другом месте. Но пока Вера Чеберякова пребывала под стражей (несмотря на данное 3 августа следователем Фененко предписание освободить ее), произошло еще одно трагическое событие, о котором сегодня в связи с делом Бейлиса почему-то не принято вспоминать. Детей Веры Чеберяковой посетили пристав Красовский и сыскающий агент Выгранов. Красовский вел себя, по словам Люды Чеберяковой, как-то странно: советовал ей, “чтобы много не показывала, два-три слова и довольно”, об Андрее Ющинском не расспрашивал и угощал детей пирожными. Вечером, после ухода Красовского, у них начались рези в животе, рвота и повысилась температура. Через несколько дней двое из детей, Валя и Женя, умерли. Выжила лишь Люда, которая съела мало пирожных.

Тем временем начальник сысканого отделения Мищук, понимая, очевидно, что тучи над ним сгущаются, решил добиться своей цели не мытьем, так катаньем. Он подбросил в дом Веры Чеберяковой вещи Андрея Ющинского и “нашел”, благодаря телеграмме некоего Кушнира, скупщика краденого, на Юрковской горе закопанный в землю мешок, в котором был какой-то хлам, угли, обгоревшие части одежды, подтяжки и два заржавленных стержня, избражавших, по-видимому, орудия убийства. находка оказалась грубой подделкой, поскольку и вещи, и одежда Ющинского (кроме брюк) были найдены

* Вера Владимировна Чеберякова, урожденная Сынгаевская, которую либеральные газеты называли “притондержательницей”, была, как следует из документов следствия (протокол допроса от 2 июня 1912, ЦГИАУ. Ф. 317. Оп. 1. Д. 5482. Л. 320об), по происхождению дворянка. Вероятно, она состояла в каком-то родстве с Николаем Сынгаевским, другом детства и молодости Михаила Булгакова, прототипом Виктора Мышлаевского из романа “Белая гвардия”.

еще 20 марта, когда обнаружили труп. Относительно же стержней судебный прокурор Туфанов объяснил, что они ни по размерам, ни по характеру заостренных концов не могли быть теми орудиями, которыми наносили повреждения Андрею Ющинскому, а его мать и бабушка заявили, что найденные подтяжки мальчику не принадлежали.

13 сентября 1911 года был отстранен от дела и уволен со своей должности Мищук, а 15 сентября пристав Красовский подал рапорт об освобождении его от розысков с просьбой разрешить вернуться к месту постоянной службы. Но, когда его рапорт удовлетворили, Красовский вовсе не поспешил к себе в Сквирский уезд, а стал заниматься вместе с журналистом Бразуль-Брушковским и уволенным агентом сыскного отделения Выграновым дальнейшей разработкой версии об убийстве Ющинского в доме Веры Чеберяковой, только в частном порядке. (Этим он занимался и в 1912–1913 годах, и после завершения процесса по делу Бейлиса, но уже в Америке). Однако все попытки Красовского, Бразуль-Брушковского, Перехриста реанимировать версию о причастности Чеберяковой рассыпались раз за разом. Тут надо отметить: позицию Меньшикова и Розанова в деле Бейлиса (они считали, что преступление совершено членами еврейской религиозной секты) называли политизированной и пристрастной, но они не пытались своими статьями направлять ход следствия, как это постоянно делали журналисты “Киевской мысли” и “Последних новостей”.

17 ноября министр внутренних дел Маклаков распорядился заняться проверкой действий киевской полиции в расследовании убийства Ющинского. 31 декабря 1911 года Красовский был уволен со службы в полиции. Мищука отдали под суд за подлог и незаконные аресты, приговорили к лишению всех прав состояния и отправили на год в арестантские роты. После освобождения Мищук скрылся и на процесс по делу Бейлиса не явился.

Вот в каком положении оказалось следствие к концу 1911 года.

Дело об убийстве Андрея Ющинского судебному следователю по особо важным делам Машкевичу пришлось начинать практически заново. У полиции и прокуратуры был теперь один реальный подозреваемый – Мендель Бейлис. Но, помимо необходимости доказать его вину, перед обвинением стоял еще один сложный вопрос, который следовало решать изначально: какова причина столь странного изуверского убийства? Кому оно выгодно? Поскольку никаких корыстных причин убивать мальчика ни у Бейлиса, ни у других гипотетических подозреваемых не было, возникла версия о чисто ритуальном характере преступления. Она имела под собой серьезные основания: убийцы выточили у Андрея Ющинского всю кровь, кололи его ножами или заточками в стоячем положении в течение почти получаса, он умирал долго и страшно. К тому же, напомним, первым выдвинуло версию о ритуальном убийстве вовсе не следствие, а редактор киевских “Последних новостей” Григорий Брейтман. Обвиняя в преступлении неведомых цыган, Брейтман заявил, что у них “существует поверье, будто кровь имеет целебные свойства”.

“Тяжкое, страдальческое, до крайности болезненное дело, – писал Меньшиков. – Не ради только чести некоего Бейлиса, но ради жизни невинных детей, довольно часто пропадающих без следа, ради жизни замученного ребенка Андрюши Ющинского и отравленных Жени и Вали Чеберяковых государство обязано если не найти, то искать истину. Искать без усталости, до исчерпания всех средств” (“Маленький Золя”).

Часто приходится слышать, что ритуальный характер убийства был на суде присяжными отвергнут*. Это не так. На самом деле присяжные оправдали за недостатком улик Менделя Бейлиса, а остальные пункты обвинения подтвердили. Убийство признали совершенным путем “почти полного обескровления тела” Андрея Ющинского “в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведывании купца Марка Ионова Зайцева”. Замечу, что когда Брейтман обвинил в ритуальном убийстве Ющинского цыган, никто тогда не выступил с протестом по поводу “кровавого навета на весь народ”. Но вот когда арестовали

* После дела Бейлиса на употребление термина “ритуальное убийство” в нашей юридической практике было наложено некое табу. Между тем современная криминальная хроника полна сообщений о кошмарных ритуальных преступлениях. Например, в начале 2009 года, по информации ТВ, в Москве группа молодых сатанистов убила 19-летнюю девушку и употребляла ее мясо в пищу.

Менделя Бейлиса, версию о его причастности к ритуальному убийству Андрея Ющинского встретила в штыки и подвергла небывалой обструкции вся “прогрессивная” печать, либеральные писатели и левые политические деятели – от кадетов до большевиков.

Против “кровавого навета” протестовали и левые литераторы, и либералы, и “независимые”, которые изображены на портретах картинной галереи писателей художника Пархоменко, и “веховцы”, и... даже декаденты.

Но есть одно странное и страшное обстоятельство: как раз мистиков и декадентов трудно было удивить употреблением человеческой крови.

Андрей Белый (состоявший когда-то членом масонской ложи с характерным названием “Люцифер”) писал в своих “Эпопеях” о забавах писателей-декадентов в начале XX в.: “Литераторы, восхотевши “мистерии”, “оркестры”, составили хоровод; и – кололи какого-то литературного адвоката булавкою; выжав кровь, – распивали с вином, называя это глупое действие “Дионисовым действием”. Свидетелем этого события на квартире поэта-декадента Н. Минского был В. В. Розанов, о чем он сообщил впоследствии в статье “Напоминания по телефону” (1913): “... Я помню вытянутое и смешное лицо еврея-музыканта N и какой-то молоденькой еврейки, подставлявших руку свою, из которой, кажется, Минский или кто-то “по очереди” извлекали то булавкой, то перочинным ножиком “несколько капель” его крови, и тоже крови той еврейки, и потом, разболтавши в стакане, дали всем выпить. “Гостей” было человек 30 или 40*, собирались под видом “тайны” и “не раньше 12 часов ночи”, гостями был всякий музыкальный, художествующий, философствующий и стихотворческий люд: были Н. М. Минский с женой, Николай Александрович Бердяев с женой, Алексей Михайлович Ремизов с женой и проч. и проч. и проч.”

Назовите эту оргию какой угодно – глупой, шутовской, как Белый, и т. п., но факт остается фактом: “литераторы, восхотевшие “мистерии”, употребляли человеческую кровь в ритуальных целях. И они же во время “дела Бейлиса” назвали обвинение в ритуальном употреблении крови “кровавым наветом”! Причем тут даже не в Бейлисе дело. Но одного ребенка зверски замучили, выточили всю кровь, а двух других детей, свидетелей, отравили уже во время следствия. Ведь кто-то же их убил? И других реальных обвиняемых в убийстве Андрея Ющинского, кроме Бейлиса, к сентябрю 1911 года не было. Почему же, спрашивал Меньшиков, “передовая интеллигенция” оправдала его еще до начала суда? Писателей, похоже, не интересовало, кто и как убил, лишь бы не с “ритуальной целью”! А то, если они не будут протестовать, либеральные издатели откажут им в публикациях и гонорарах...

Достоевский вселенскому благополучию “слезинку ребенка” противопоставлял, а тут из живого ребенка *всю кровь* до последней капли выточили – и что же писатели? Хлопочут, как бы не вышло “кровавого навета”! И никаких тебе угрызений совести, никаких “кровавых мальчиков в глазах”...

Впрочем, были и те, кто с явной неохотой подписывал воззвания против версии о ритуальном убийстве Андрея Ющинского. В дневника Блока хранилось свидетельство: “27.11.1911. Дважды (подчеркнуто Блоком. – А. В.) приходил студент, добирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленко). Я подписал. После этого – скребёт на душе. Да, Клюев бы подписал, и я подписал – вот последнее”.

Так стоит ли удивляться реакции Михаила Меньшикова на неискреннее возмущение декадентствующей интеллигенции “кровавым наветом”, если о её кошунственных “дионисийских играх” и двоедушии он писал еще на заре XX века, в статьях “Поганое в паганизме”, “О гробе и колыбели”, “Среди декадентов”?

Оказавшись в эмиграции, многие бывшие радатели о Бейлисе стали оплакивать подло убитую в екатеринбургском подвале царскую семью. Между тем среди палачей был человек (хотя, на самом деле, разве это человек?), который написал на стене полуподвала Ипатьевского дома двустушие из Гейне по-немецки: “Валтасар был этой ночью своими слугами убит”. Причем имя Валтасар, которое по-немецки пишется “Belsazer”, он превратил в “Belsatzar” (русское слово “царь” обычно писалось европейцами “tzar”). Классический, можно сказать, каламбур... Каламбур на крови. Не так ли и наши витии: чи-

* Много это или мало, можно судить, например, по тому, что в портретной галерее известных русских писателей И. К. Пархоменко было около 90 персонажей.

тали, подвывая, пьяные и накокаиленные, в “Бродячей собаке” свои изощренные по форме, полные иступленной страсти стихи, а когда нашелся среди них простодушный человек (это был поэт Велемир Хлебников) и напомнил о безвинно пролитой крови Андрюши Ющинского, то они набросились на него с пеной на губах: “Негодяйство!”, “Выдумка!”. Наверное, им легче было бы думать, что изуверски убитого мальчика вовсе не существовало.

Мы не знаем, виновен или нет на самом деле был Бейлис (голоса присяжных разделились поровну, что означало по русским законам – “невиновен”). Но мы знаем, что в 1913 году Бейлису предоставили возможность защищаться и добиваться оправдания в открытом суде, а вот прокурору Киевской судебной палаты Г. Г. Чаплинскому, четырнадцати сотрудникам Киевского окружного суда и прокуратуры, свидетельнице Вере Чеберяковой и ее брату Сингаевскому в 1919 году такой возможности не предоставили – их подвергла диким пыткам и расстреляла без всякого суда киевская “чрезвычайка”.

Так же, без суда и следствия, был казнен валдайскими чекистами в 1918 году и Михаил Осипович Меньшиков.

Меньшиков и судьба русской монархии

Неоднократно в своих работах Меньшиков указывал, что неустойчивая ситуация, сложившаяся в России в начале XX века, может разрешиться двумя путями: возрождением исторической, самодержавно-народной России или, напротив, ее деградацией, вплоть до полной утраты государственности. Объективных предпосылок для взлета было достаточно: Россия входила в пятерку наиболее динамично развивающихся мировых держав. Почему же развитие с какой-то роковой предопределенностью пошло по худшему сценарию?

Меньшиков предвидел катастрофу 1917 года и всеми силами, используя весь свой талант и авторитет в обществе, стремился предотвратить ее. “Православие нас освободило от древней дикости, самодержавие – от анархии, но возвращение на наших глазах к дикости и анархии доказывает, что необходим новый принцип, спасающий прежнее. Это – народность... Только национализм в состоянии вернуть нам потерянное благочестие и могущество”, – писал он.

Но одного национализма было явно недостаточно.

Всего за 12 лет (с 1905 по 1917 год) в России произошли три революции, и каждая из них была тяжелее другой по своим последствиям для граждан и государства. Есть немало историков, которые утверждали и утверждают, что эти революции возникли искусственно, путем заговора узкого круга лиц. Оснований для подобных утверждений достаточно. Заговор с древнейших времен – самая распространенная форма политической борьбы. Внутренние и внешние враги самодержавия ускорили его падение, использовали в своих интересах, но у революционных событий в начале XX века были и объективные причины, уходящие своими корнями в глубь веков.

Главная из них – социальная и нравственная несправедливость, вступавшая в кричащее противоречие с нормами христианской православной веры, которую исповедовало большинство населения России. Одна из таких исторических несправедливостей – крепостничество и его последствия. Меньшиков после революции 1905–1907 годов пересмотрел свое отношение к крепостному праву, писал, что реформа 1861 года разрушила и помещицье, и крестьянское хозяйство, а ужасы крепостничества преувеличены врагами самодержавия. Но думаю, что более объективную оценку крепостному праву дало такое “заинтересованное лицо”, как император Николай I, который, выступая еще в 1847 году перед депутатами смоленских дворян, сказал: “Земли принадлежат нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели их нашею кровью, пролитой за государство; но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить это иначе, как хитростью и обманом с одной стороны, и невежеством – с другой. Этому должно положить конец”.

То, что они являются жертвами “хитрости и обмана”, лишенные прав русские люди понимали веками, даже в те времена, когда на Руси сохранялся гражданский мир. Иначе нельзя понять, почему русский народ, который большинство иностранных путешественников, в разные времена посещавших Россию, называли добрым и терпеливым, столь ожесточенно сражался с властью

и богачами в ходе восстаний Болотникова, Разина, Булавина, Пугачева. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, но без земли, скорее, обострило у народа ощущение несправедливости, чем сняло его. Ведь крестьяне пролили крови за государство гораздо больше, чем дворяне, но получилось, что земли “не принадлежат им по праву”.

Царская власть слишком поздно пошла на уступки беднейшим слоям населения. Обязательным условием долголетия великой державы Михаил Меньшиков считал существование в ней **гражданского общества**, то есть союза различных социальных групп на основе соблюдения интересов каждой. Для того же, чтобы в стране сформировалось гражданское общество, требуется немалое время. А крепостные крестьяне, в сущности, до 1861 года не были гражданами. Они даже не считались вполне христианами (хотя “крестьянин” и означает “христианин”), потому что только при Павле I обрели право не работать в воскресный день, как предписывает Святое Писание.

За неполных полвека, что прошли с 1861-го по 1905 год, невозможно было забыть те обиды и притеснения, что чинили простому народу представители высших классов на протяжении сотен лет.

Например, в “Уложении” царя Алексея Михайловича смертная казнь назначалась простолоудам чуть ли не за пустяки — всего в 60 случаях, а жестокие телесные наказания охватывали более ста случаев. Казни и наказания совершались ежедневно на какой-нибудь площади в крупных городах, особенно при Петре I. Смертная казнь периодически отменялась, но одновременно ужесточались телесные наказания, вплоть до изуверства. При Аракчееве провинившимся солдатам назначалось до 12 тысяч ударов палками (шпицрутенами), когда наказанные умирали и после пятисот. Не отставали от властей и воинских начальников и многие помещики. Нам известны многочисленные примеры их бесчеловечного отношения к крестьянам. Эти свидетельства принадлежат не только писателям и общественным деятелям, являющимся врагами самодержавия, но и идейным сторонникам монархии. Славянофил Ю. Ф. Самарин в заметке о Малороссии называет одно имение, в котором ежедневно секли от 40 до 60 женщин, в том числе и беременных, “отчего было много несчастных случаев и распространилась падающая болезнь”. Герой романа Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы” рассказывает о том, как один помещик затравил собаками ребенка на глазах у матери, — эта страшная история взята из жизни.

Подобная ничем не оправданная жестокость привела к тому, что крестьяне и городская беднота воспринимали помещиков, чиновников, офицеров как совершенно чужую им, враждебную власть. В отличие от древнерусских былин, никогда, ни в одной народной песне или сказании, созданных в послепетровскую эпоху, не найдете вы ни одного доброго слова по отношению к представителям власти, исключая царя да героев Отечественной войны 1812 года.

Но хуже всего, что в сознании простых людей Православная Церковь стала олицетворяться с несправедливой властью. Меньшиков видел эту опасность, предупреждал о ней (например, в 1907 года в статье “Две России”). Русский народ к началу XX века по-прежнему в большинстве своем верил в Бога, но, говоря об отношении его к священникам, приходится признать правоту Белинского в известном его споре с Гоголем. В самом деле, священники внушали бедным — “не укради”, “не завидуй”, но разве простолоудины при всем их “невежестве”, как говорил Николай I, не видели “хитрости и обмана” со стороны богатых, не понимали, что они беззастенчиво крадут плоды их труда? С другой стороны, заповедь “не укради” должна ведь относиться и к тем, кто пользуется краденым, то есть к помещикам, чиновникам и купцам, к которым земли, богатства и крестьяне перешли по наследству. В ином случае обман и хитрость получают как бы законными, хотя ни в одной стране мира закон не признает возможность пользоваться плодами краденого или нажитого несправедливым путем.

И как результат, уже к середине XIX века учение Православной Церкви, сотни лет являющееся основой характера русского народа, стало бедными восприниматься как средство обмана их богатыми. Люди спрашивали себя: почему Церковь учит нас смиряться и терпеть, а богатым позволяет нас грабить, калечить, насиловать и даже убивать? Впоследствии хлесткий лозунг большевиков-ленинцев: “Грабь награбленное!” совершенно перечеркнул в

сознании бедноты христианские заповеди “не укради” и “не желай чужого”, которым наш народ терпеливо следовал в течение тысячи лет.

Лишенная еще Петром I патриаршества, а следовательно, и самостоятельности в государстве, сильно зависящая от благотворительности богатых, Церковь не смогла вовремя призвать их к тому, к чему А. И. Солженицын призывал советское общество — “раскаянию и самоограничению”. (Сейчас об этом даже читать смешно. О каком “самоограничении” можно было говорить, имея в виду скромных советских людей? И в чем следовало “раскаиваться” народу, ценой неисчислимых жертв спасшему мир от нацизма?) Но еще раньше, до революции, о “бедном нашем христианстве, давно расстроенном унижением церкви” писал М. О. Меньшиков. Он напоминал: “В самом деле, что такое христианское благовестие, как не свобода слова, в благороднейшем ее смысле? Но слова великого, вышедшего из уст Божиих... Вследствие упадка регулирующего начала — власти, цензура кончила тем, что наложила оковы на мысль героическую и гениальную и совершенно разнуздала подлую и бездарную умственную производительность черни” (“Голос Церкви”).

Реформа 1861 года и последующие реформы не носили характера покаяния высших классов перед низшими, они как бы милостиво разрешали 23 миллионам крепостных крестьян не быть больше рабами, а все материальные блага оставлять тем, кто добыл их путем неправедным или получил в наследство от предков-крепостников. И это тоже воспринималось бедняками как часть давнего, берущего начало в седой древности обмана. Народившийся во второй половине XIX века класс фабрикантов-капиталистов действовал, за редкими исключениями, столь же беззастенчиво и жадно, как некогда помещики. Независимо от того, как относился Меньшиков к реформе 1861 года, следует признать его вывод правильным: ни власть, ни богатые не стали после 1861 года ближе народу.

Неудачные войны, которые вела Россия в преддверии революций 1905 и 1917 годов, и вызванные ими социальные невзгоды, являлись, таким образом, лишь дополнительными причинами потрясений, но не основными.

Трагедия России была в том, что у нее имелись такие блестящие идеологи, как Меньшиков, но не было власти, которая могла бы этой идеологии соответствовать.

Как известно, само царствование Николая II началось для страны несчастливо. Во время коронации государя, 18 мая 1896 года, в день его рождения, в Москве на Ходынском поле произошла катастрофа. Неудачно организованная раздача подарков простому народу привела к давке, в которой погибли и были ранены более двух с половиной тысяч человек. Я думаю, это явилось бы ударом и для человека с более твердой волей, чем Николай II. А его еще ждала русско-японская война, революция 1905–1907 годов, первая мировая война...

Проведя юность, типичную для гвардейского офицера из высшего общества, когда свободное от службы время использовалось преимущественно для светских развлечений, молодой наследник решительным образом изменил образ жизни, когда женился на немецкой принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской (в крещении — Александре Федоровне). Она перешла в православную веру не только потому, что так требовали наши законы, но искренне, горячо, всем сердцем. Николай, как и его венценосная супруга, стал неподдельно религиозен. Именно ему мы обязаны прославлением в 1903 году народного святого — преподобного Серафима Саровского. Не будучи человеком публичным, о своих государственных обязанностях Николай II никогда не забывал, трудился много и охотно, главное внимание, как и Александр III, уделяя укреплению экономического могущества и безопасности страны, строительству железных дорог, военных кораблей и т. п. В делах он любил основательность, аккуратность, не терпел спешки. Решения, как правило, долго обдумывал, а приняв, мог внезапно отменить. Это не столь уж плохие качества, но нельзя не согласиться с мнением, высказанным Меньшиковым в дневнике 1918 года, что Николаю II как высшему руководителю не хватало масштабного, стратегического мышления, когда человек действует не по воле обстоятельства, а сам создает выгодные для себя и страны обстоятельства.

Взойдя на престол в 1894 году, Николай II не использовал в полной мере десять лет мирного развития. Для дальнейшей успешной модернизации России требовалось по возможности быстро провести справедливую земельную

реформу, заменить систему сословных, непрямых выборов в местное самоуправление на прямое и равное голосование, ликвидировать значительное отставание условий труда и жизни наемных рабочих от роста капиталистической промышленности, ввести обязательное начальное, а потом и среднее образование, снять ограничения с нормальной жизнедеятельности Синодальной и старообрядческой Церковью, сделать законы равными для всех, осуществлять более внятную, последовательную политику в национальных и религиозных вопросах — именно в том духе, как предлагал в своих статьях Меньшиков.

От этого зависело, будет ли страна дальше развиваться нормально или вступит в полосу кризисов. России было суждено вступить в полосу кризисов.

Справедливости ради надо сказать, что в начале своего царствования Николай пытался вместе со своим окружением выработать некую долгосрочную стратегическую программу действий, прежде всего во внешней политике. Вкратце ее можно было бы охарактеризовать так: Россия ведет на западном направлении политику сдерживания (так называемые Гаагские инициативы), но одновременно, по примеру Германии, осуществляет натиск на Восток, к незамерзающим тихоокеанским портам Китая и Кореи.

Казалось, до 1904 года политика молодого царя на Дальнем Востоке была энергичной и умелой. Но в ней не было главного на тот момент — реальной оценки состояния главного и тоже активного конкурента, Японии. Японский солдат царь считал “не настоящим войском” и утверждал, что при столкновении с русской армией “от них лишь мокро останется”. Ему угодливо поддакивали недобросовестные военные советники, которые, как писал М. О. Меньшиков А. С. Суворину 12.7.1907, докладывали Николаю, “что армия у японцев, при всем напряжении, самое большее 300 с чем-то тысяч на военном положении. А на самом деле Япония выставила 1 1/2 миллиона”. На японский флот царь вообще не обращал внимания. Между тем численность японской армии за период с 1896 по 1903 год увеличилась в 3 раза, а тоннаж военно-морского флота — в 4,5 раза!

Столь же нереалистично, как и в случае с Японией, оценивал царь военные и экономические возможности России в случае столкновения с Германией и Австро-Венгрией. В конце 1908 года Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины на Балканах, нарушив тем самым договор с Россией 1876 года. Россия, конечно, всего через три года после неудачной русско-японской войны не могла вступать в новую большую войну. Но и соглашаться с подобным грубым нарушением международных норм она тоже не могла. Между прочим, к войне царя подталкивали даже пацифисты-кадеты. Николай II уже решил объявить мобилизацию против Австрии, но этому энергично воспротивился премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, сумевший убедить царя, что война с Австрией и ее могучей союзницей Германией неизбежно приведет к поражению и новой революции. “Сегодня я спас Россию!” — заявил Столыпин в этот день своим близким. Он полагал, и вполне справедливо, что великая держава сильна не только тем, что воюет, но и тем, что не позволяет себя вовлечь в невыгодную войну. В этом смысле он был даже дальновиднее Меньшикова, склонного видеть в подъеме патриотизма, сопутствующего войне, возможность справиться с внутренними неурядицами. Как жаль, что не было Столыпина в августе 1914 года! Николай II поддался на провокацию сербских масонов, задуманную их верховными руководителями во Франции с целью втянуть Россию войну. Процесс над убийцами эрцгерцога Фердинанда, как-то тихо и незаметно прошедший уже после начала первой мировой войны, показал, что австрийцы были не так уж и неправы в своих требованиях провести в Белграде объективное расследование убийства под их контролем.

“Свидетель моего времени, я твердо уверен, что на месте Николая II можно было избежать и японской войны, и тогдашней революции, и теперешней. Как? Да очень просто: глядеть во все глаза на опасность и уклониться от нее”, — утверждал Меньшиков в дневнике 24.6.1918.

Противники царя и ненавистники России решили воспользоваться тяжелой, затяжной войной для свержения самодержавия. Сегодня это уже доказанный факт. Вот, например, отрывок из письма вождя кадетской партии П. Н. Милюкова к одному из своих единомышленников И. В. Ревенко, написанное в 1918 году: “Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами *вскоре после начала этой*

войны (курсив мой. — **А. В.**). Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая (1917 г. — **А. В.**) наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования”.

Как писал один из фигурантов заговора, начальник штаба Северного фронта генерал Ю. Н. Данилов, “арест государя предполагалось произвести или в Ставке, или во время одного из поездов его из Могилева в Петербург или обратно”. Так оно и случилось. 14 марта 1917 года заговорщики загнали литерный поезд Николая II, следующий из Могилева в Царское Село, на станцию Дно под Псковом. . .

Так исполнялось предсказание преподобного Сарофима Саровского о судьбе царской династии.

В свое время Меньшиков неустанно напоминал власти о заветах отца Иоанна Кронштадтского. “Как известно, он мужественно выступил против нашей революции и в церковных проповедях напоминал власти ее долг подавлять смуту. Не только народу, но и начальству о. Иоанн предложил к исполнению знаменитую 13-ю главу послания (апостола Петра. — **А. В.**) к Римлянам. “Начальник не напрасно носит меч: он Божий слуга, отметите ль в наказание делающему злое”. Начальство русское с изумлением узнало, что употреблять меч обязывает сам апостол”.

“Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое”, государь в этой ситуации должен был силами конвоя (как и предлагал ему свитский адмирал Нилов) арестовать и, быть может, даже расстрелять Рузского и Данилова, направиться в Псков, в штаб фронта, вывести лично из казарм, как это делал прадед его, Николай I, имевшиеся силы, посадить в эшелоны и пустить их впереди своего поезда. . . Войти с боем в Петроград, поднять юнкерские училища, насчитывавшие около 14 тысяч штыков, раздавить мятеж. . . Всё это было более чем возможно. Но ничего этого не произошло. Почему? — недоумевал в 1918 году Меньшиков. И всякий русский человек, у которого болит душа за Отечество, по сей день мучительно спрашивает: “Почему? Почему? Почему?”

Конечно, государь боялся за жену и детей, бывших фактически заложниками в Царском. . . Но ему, русскому царю, наверное, следовало вспомнить, что сказал, собирая ополчение в Нижнем Новгороде, совсем не военный человек Козьма Минин, возведший его династию на трон: “Отдадим живот свой за Отечество, а если надо, жен и детей заложим!”

В беспощадной истории человечества всегда прав Козьма Минин. Готовность пожертвовать за Родину женой и детьми есть залог их спасения. Николай II, подписав отречение, не спас жену и детей. И себя тоже.

В июне 1918 года Меньшиков прочел в газете “Молва”, “будто Николай II был очень огорчен, узнав, что “Новое время” переименовало фронт, что М. О. Меньшиков и Пиленко сделали республиканцами”. “Если это правда, то что же! — писал Меньшиков 23.6.1918. — Стало быть, Николай читал мою статью “Кто кому изменил?”. В ней я доказывал, что не мы, монархисты, изменники ему, а он нам. Можно ли быть верным взаимному обязательству, к-рое разорвано одной стороной? Можно ли признавать царя и наследника, которые при первом намеке на свержение сами отказываются от престола? Точно престол — кресло в опере, к-рое можно передать желающим. Престол есть главный пост государственный, высочайшая стража у главной святыни народной — у народного величия. Царю вручена была не какая-либо иная, а национальная шапка, символ единства и могущества народа. Вручены были держава, скипетр, меч, мантия и пр. — облачение символическое носителя всенародной личности. Тот, кто с таким малодушием отказался от власти, конечно, недостоин ее. Я действительно верил в русскую монархию, пока оставалась хоть слабая надежда на ее подъем. Но как верить в машину, сброшенную под откос и совершенно изломанную?”

Горькие мысли о судьбе страны и династии не оставляли Меньшикова в последние месяцы жизни на Валдае. . . Как и “Апокалипсис нашего времени” Розанова, страницы его дневника и писем 1918 года пронизаны глубоким (и таким понятным после катастрофы 1917 года и Брестского мира) скепсисом по отношению к России и ее будущему.

Но вместе с тем Меньшиков ясно понимал, что революционная катастрофа — еще не конец государства, ибо государства, как писал Н. М. Карамзин,

складываются веками, а границы пишутся кровью. Если Меньшиков верил, что “одной Австралии, одной Новой Зеландии достаточно для восстановления цивилизации, и в крайности – одного какого-нибудь Томска”, то тем более он верил, что “одного какого-нибудь Томска” достаточно для будущего восстановления России.

Государство, по мнению Меньшикова, есть форма существования народа, не всегда справедливая по отношению к этому народу, но обеспечивающая его безопасность, возможность независимого существования и культурного развития. Любое государство, как показывает история человечества, можно реформировать без кровавых потрясений, но для этого нужна соответствующая политическая воля верхов и уважение к низам, без которых благосостояние верхов было бы невозможно. У царской России этого не получилось. У Советского Союза, как мы знаем, тоже. Далеко не все верят, что получится у нынешней России – слишком много она повторяет ошибок и царской России, и СССР. Но что дальше?

У ужасном 1918 году Меньшиков писал: “Я думаю, что столь глубокий упадок чувства народности – накануне восстановления ее или смерти. Одно из двух”.

Прошло 90 лет, но мы и по сей день не можем сказать: накануне восстановления мы или смерти? Именно поэтому нам так нужны сегодня произведения Меньшикова. Может быть, они и есть залог нашего восстановления.

Эпилог

“Сегодня ровно год, как мы переехали в Валдай. Год жизни! Год самовольного (!) изгнания, почти заточения, вынужденной праздности литературной, год величайшего крушения и отечества, и с ним моей судьбы. Сегодня видел сон: как будто я стою в храме, где почти никого нет, – я и Николай II. Он говорит, указывая на пол: “что это?”, довольно строгим голосом. Я на одно мгновение усумнился, ко мне ли этот вопрос, и, поняв, что ко мне, ответил: “Это грязь, Ваше Величество” (и подумал, не обиделся бы он, что не сказал императорское Величество). Тогда царь молча стер подошвой эту грязь (такую, какая прилипает к обуви на улице). Мне показалось, что мне о чем-то нужно говорить с государем, но сразу нашло очень много народа прикладываться к кресту, который будто бы вынес не священник, а тот же Николай II, и мне показалось, что когда я приложусь, тогда и поговорю с ним. С этим проснулся. Но в связи ли этот сон со слухами, что Николай II убит?”

Это было предпоследнее пророчество Меньшикова. Он сделал его 21 июня 1918 года, за 26 дней до расстрела Николая II и его семьи и за три месяца до собственной смерти. Конечно, в этом вещем сне Меньшикову была предсказана не только гибель царя, но и его собственная: “будто я стою в храме, где почти никого нет, – я и Николай II”.

Этот трагический дуэт – Николая II и Меньшикова – символ исторического пути России до 1917 года Николай II – это наше прошлое, к которому уже нет возврата, а Меньшиков – это наше будущее, которое не осуществилось.

А еще в этом сне Михаил Осипович увидел крестную судьбу русского народа, повторяющую трагическую судьбу царя: “...нашло очень много народа прикладываться к кресту, который будто бы вынес не священник, а тот же Николай II...”

Исполнилось печальное предсказание Серафима Саровского, но что оно означало в целом для России, в том числе для России нынешней?

Последнее пророчество Меньшикова касается уже нашего времени: “О Ленине сужу по 2–3 прочитанным его статьям. Человек, судя по ним, не лишенный таланта и большого характера. Крупный, во всяком случае, человек. Тиран типический, но, м. б., большая ошибка судьбы, что не он сидел на престоле Николая II. Оба – мученика политики и оба противника в земле... Они будут продолжать войну из-за гроба”.

Так оно до сих пор и происходит. И этой “войне из-за гроба” пора положить конец. Думаю, Меньшиков бы не возражал.